АЛЕКС БЛЭК

НЕВОД

ФАКТОРИЯ



18+

Алекс Блэк

Невод. Фактория

«Автор»
2026

Блэк А.

Невод. Фактория / А. Блэк — «Автор», 2026

Дэйв выжил в лесу — но лес был только краем решета. Дорога ведёт на равнины, в большую факторию Развал, где всё взвешивают, записывают и продают. Меченому здесь положено быть серым: копить очки, не расти напоказ, грязнить слишком чистую жилу. Но в Развал приходит корпоративная зачистка — холодный Смотритель, корабли и три десятка «чистых» в фабричной броне, — и прятаться становится негде.Чтобы вытащить своих, Дэйву придётся спуститься в Котёл, откуда не возвращаются, и расти так, как не растут даже меченые: с девятого уровня до шестнадцатого за три декады. А снизу, из-под самой Системы, его уже зовёт тот, кто считает всё живое, — и ждёт одного слова.Вторая книга цикла «Невод» — о цене своих, о росте, за который платят кровью, и о коротком слове «нет», которым держится мир.

© Блэк А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Дорога 5
Глава 2. Ворота 10
Глава 3. Весовщик 14
Глава 4. Чистая одежда 19
Глава 5. Чужой среди серых 23
Глава 6. Трещина 27
Глава 7. Слух о сите 31
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Алекс Блэк
Невод. Фактория

Глава 1. Дорога

В рекламе всё было красиво.

Та девушка в белом комбинезоне на выцветшем билборде у проходной, ровные купола, зелёные поля, «новая жизнь с чистого листа». Я вспоминал её всё чаще на этой дороге — не со зла, зло давно перегорело, — а так, как трогаешь языком старую мозоль, просто чтоб убедиться, что она ещё на месте. Потому что про одно-единственное реклама всё-таки не соврала: жизнь и вправду вышла новая. Совсем новая. Вот только учился я этой новой жизни не в обустроенном секторе под куполом, а в лесу, который хотел меня сожрать. И выучился — худо-бедно, за одиннадцать дней.

Жить среди людей — на это, я уже чувствовал нутром, одиннадцати дней не хватит. И ста одиннадцати. Лес хотя бы честен. Лес хочет тебя просто съесть — без умысла, без второго дна, без улыбки. А люди, как показала мне короткая, но доходчивая наука последних декад, хотят от тебя разного, сложного, и почти никогда не говорят об этом вслух. С лесом я знал, что делать. Против леса у меня были нож, плевок, ремесло и Блесна за правым плечом. Против людей — только одно скользкое, ненадёжное правило, которое мне завещал мертвец: будь серым. Не выделяйся. Не загадывай загадок. Серого не разглядывают.

Вот с этим правилом я и шёл к людям. И уже чувствовал, что держать его будет труднее всего, что я делал в этой жизни.

Мы шли четвёртый день.

Угодья артели остались далеко позади — делянки, частокол, восемь холмиков на пригорке. Боцман сказал на прощание: дверь открыта. Я знал, что это правда, и знал, что в неё уже не войду. Назад я не оглядывался — Невод был прав, живые оглядываются вперёд, — но и вперёд пока смотреть было особо не на что. Лес понемногу менялся: башни-стволы редели, расступались, кора на них светилась тусклее, скупее, будто и жила к равнинам шла на убыль. Под ногами вместо вечной прелой трясины всё чаще попадалась твёрдая земля, щебёнка, плешины голого камня. Воздух посуше. Свет позеленее, пожиже. Мир открывался, выпрямлялся, выдыхал — и от этой непривычной открытости мне, пообвыкшему в тесном, душном лесу, где угроза всегда за ближним папоротником, было неуютно. На открытом тебя видно. А меня видеть было нельзя.

— Опять слушаешь, — сказала Блесна.

Не вопрос. Она шла чуть сзади и сбоку, как привыкла, читая не дорогу под ногами — дорогу я и сам читал, — а меня. Мою спину, мои плечи, то, как я держу голову. Она научилась этому за декады быстрее, чем я бы хотел. Меченого, говорил Первый, выдаёт не чистая жила — её можно грязнить. Меченого выдаёт то, как он замирает и слушает голос, которого никто вокруг не слышит. Так вот: Блесна этот мой замер читала теперь безошибочно. И это было плохо. Это было очень плохо — и в то же время, чего греха таить, это было единственное за долгое время, от чего мне становилось не холодно, а тепло.

— Привычка, — сказал я. — Думаю.

— Думай вслух, подвес. — Она поравнялась со мной, сдвинула на затылок капюшон. Глаза у неё были, как всегда, холодные, умные, цепкие — и в самой глубине, для меня одного, чуть насмешливые. — Молчком думают те, кому есть что скрывать. А тебе от меня скрывать нечего. Мы же договорились.

Мы договорились. В ту первую ночь, у края угодий, когда лагерь скрылся за грядой, я рассказал ей всё. Не потому, что был уверен, — потому, что иначе не мог. Нельзя идти к самому пеклу, держа спутницу вслепую. Я рассказал про метку. Про то, что Невод со мной говорит — по имени, «интересно», «не умирай». Про Нулевого в основании мира, ради которого меня хотят вскрыть, как консерву. Про то, что он, этот молчащий счёт, сбился — на один, на меня. Я ждал чего угодно. Что она отшатнётся. Что передумает. Что посмотрит на меня, как смотрят на прокажённого, — с жалостью и шагом назад.

Она посмотрела на меня тогда долго, в темноте, при тусклом свете жилы в коре. А потом сказала: «Ну и приз же мне достался. Самый дорогой подвес на всём Эпсилоне». И легла спать. И это было лучшее, что мне говорили за сорок с лишним лет.

— Думаю, — сказал я, — что там, впереди, мне нельзя будет замирать. Вот так, как сейчас. Ни разу. Ни на миг. Среди людей — ни разу.

— Значит, не будешь. — Она пожала плечом, легко, будто речь шла о том, чтоб не наступать в лужи. — А если прихватит — я рядом. Споткнёшься, замрёшь, уставишься в пустоту — я тебе локтем под ребро, громко обругаю, все и решат: вот баба пилит мужика. Обычное дело. Никто и не вглядится. — Она усмехнулась своей кривой усмешкой. — Серость, подвес, — это ведь не когда ты один прячешься. Это когда вас двое и вы оба врёте складно.

Я хмыкнул. В этом была вся Блесна. Я четыре с лишним декады ломал голову, как мне в одиночку спрятать то, что я есть, — а она одной фразой превратила мою тайну в работу на двоих. Поделила ношу, не спросив. Своих не отдаю, сказала она когда-то. Я тогда не понял до конца, что это значит. Теперь понимал.

[Невод] Трогательно. Я бы прослезился, будь чем.

Я не замер. Горжусь собой — не замер, не сбился с шага. Только уголком рта дёрнул — и всё. Невод при людях молчал, мы с ним на этом сошлись ещё в лесу: рядом будут глаза и уши, и меченого выдаёт ответ пустому воздуху. Но Блесна людьми не была. Блесна знала. И потому последние дни он снова — изредка, скупо — ронял своё, сухое, ехидное, как в самом начале. Я уже привык считать это почти обществом. Дурной компанией, которой не выбирают, но с которой коротаешь дорогу.

[Невод] Она права, кстати. Насчёт двоих. Один ты бы в первой же фактории продержался до вечера. Тебя выдаёт лицо, Дэйв. У тебя на лице всё написано крупно, по складам, для слабовидящих. Работай над этим. Или держись за ту, у кого написано мельче.

Я и держался.

Твердь под ногами пошла в гору — пологую, длинную гряду, последнюю, за которой, если верить обрывкам, что я собрал в журнале Первого и в болтовне артельных, уже начинались равнины. Я прибавил шагу. И тут Блесна коротко свистнула сквозь зубы — два раза, низко. Наш знак. Стой. Чужое.

Я стал. Опустился на колено, в один присест, бесшумно — тело уже делало это само, без приказа, как когда-то руки сами собирали рассыпанный хлам в капсуле. Плевок лёг в ладонь привычной тяжестью. Я повёл взглядом туда, куда смотрела Блесна, — и увидел.

Внизу, под грядой, где лес окончательно редел и переходил в кустарник, в сухой высокий бурьян, кто-то был. Не человек — движение было не людское. Длинное, поджарое, на высоких суставчатых ногах, оно скользило через бурьян рывками, замирая, вытягивая плоскую голову к земле. Не ползло, как лесные твари, привыкшие к тесноте, — шло на длинных ногах, постепному, высматривая добычу поверх травы. Новое. Равнинное. Такого в лесу я не встречал.

[Невод] Обнаружена тварь: Долгоног. Уровень 9. Падальщик и загонщик. Тебе под стать — не выше, не ниже. В лесу их нет, им тут тесно. А на равнинах — их дом. Привыкай: тут всё другое. И твари, и люди.

— Один? — одними губами спросил я.

— Пока один. — Блесна уже доставала из-за пояса моток — тонкий, прочный, из жилы свитый шнур с грузилом, её работу. Силок. — Они стаями ходят. Если один вышел на нас, значит, учуял и зовёт. Надо быстро и тихо. Пока не свистнул своих.

Я кивнул. И вот тут, на миг, я поймал в себе то, от чего потом, выше по дороге, стало не по себе. Я не испугался. Совсем. В первую мою ночь на этой планете одна шестилапая собака чуть не выпустила мне кишки, и я орал без слов, катаясь с ней по листве, и убил её чудом, кое-как, тыкая ножом наугад, обмирая от ужаса. А сейчас я смотрел на тварь мне под стать — и в голове у меня было чисто, пусто, деловито, как у мастера перед знакомой работой. Где ноги. Где пойдёт. Где её встретит Блеснин силок, а где — мой плевок. Ни дрожи в руках. Ни каши в мыслях. Работа.

Это было хорошо. Это держало меня в живых.

И это же, я уже смутно догадывался, однажды меня и выдаст. Потому что так — чисто, пусто, без страха — на твари смотрят очень, очень немногие. Единицы на тысячи, как сказал мне когда-то Невод над лужей жилы. А единиц, я теперь знал, ищут. Специально.

— Слева обойду, — шепнула Блесна. — Загоню на тебя, в проплешину у камня. Как встанет на миг — бей.

— Иди, — сказал я.

Она скользнула вбок и вниз, в бурьян, бесшумно, растворилась — её ремесло было не бить, а делать так, чтоб ударил ты, в нужном месте, в нужный миг. Я остался. Вдавился в тень последнего дерева, положил плевок на согнутую руку, поймал Долгонога на прицел, повёл стволом, как учил Кряж, — мягко, на выдохе, не дёргая. Ждал.

Блесна сработала чисто. Где-то в бурьяне слева хрустнуло, нарочно, громко, не к месту, — и Долгоног вскинул голову, развернулся всем телом на звук, подобрался, пружиня на своих суставчатых ногах, и пошёл туда — длинными скользящими скачками, вытянув морду. Прямо на проплешину у камня. Прямо на меня. На третьем скачке его задняя нога ушла в петлю, которую Блесна бросила ему под ноги за миг до того, как исчезнуть, — шнур рванулся, захлестнул сустав, грузило мотнуло, и Долгоног на полной скорости клюнул мордой в землю, нелепо, беспомощно, вскидывая зад.

Один миг. Ровно тот самый, который она мне и обещала.

Я выдохнул и плюнул.

Плевок дёрнулся в руке, болт ушёл коротко, зло, без замаха, — и вошёл твари под плоскую голову, в то мягкое, где у неё, видно, было что-то важное. Долгоног дёрнулся, захрипел, засучил ногами, запутываясь в силке ещё сильнее, — и затих. Быстро. Почти буднично. Вся драка заняла меньше времени, чем у меня в первую ночь ушло на то, чтоб расстегнуть заклинивший ремень.

[Невод] Чисто. Слаженно. Скучно. — Пауза, короткая, та самая, которой у него быть не должно. — Знаешь, Дэйв, в ту первую ночь я бы написал «надо же, выжил». А теперь пишу «чисто». Это ведь я о тебе так меняюсь. Привыкаю. Нехорошо. Мне нельзя привыкать.

Я не ответил. Подошёл, выдернул болт, вытер о бурьян, оглядел тушу. Блесна вынырнула из травы с другой стороны, присела, деловито высвободила свой силок из суставчатой ноги, смотала, сунула за пояс. Переглянулись. Она мотнула головой: уходим, пока стая не подтянулась на зов. Жилу с Долгонога брать не стали — падальщик, жила в нём мутная, дешёвая, не стоит возни и риска. Я только срезал пару длинных сухожилий — Блесне на силки сгодятся, добро не бросают.

Опыт за Долгонога капнул скупо — падальщик, не добыча, — строчка мелькнула и погасла. А следом, будто нарочно, чтоб я не забывался, выплыла другая, привычная:

[Невод] Уровень 9. Нераспределённого: 6.

Шесть. Я не трогал их со стаи — с той ночи у обрыва, когда Невод заорал мне «одно в выносливость» и я выжил на этом одном. С тех пор я рос — тихо, по капле, как учил Сом,

добирая жилу малыми дозами, чтоб не выбиваться, — а очки не тратил. Ни одного. Копил, как копил когда-то мелочь в жестянке из-под кофе — на чёрный день, которого всегда ждёшь. И дело было не в одной скупости. Вложенное очко не лежит в кармане. Оно в руках, в ногах, в том, как ты бежишь, бьёшь, держишь удар. Его видно. Мастеровой, который за декаду вдруг стал вдвое крепче, — это странно. А странное, я уже усвоил, тут записывают. Невложенное же очко не видно никому — ни наблюдателю, ни вербовщику, ни весам. Уровень у человека — дело его и Невода, на лбу не написан. Вот я и носил свои шесть очков невидимыми, как носят нож за голенищем: не для красоты — на тот единственный день, когда без него конец.

— Сколько? — спросила Блесна, не оборачиваясь. Она всегда знала, когда у меня в голове мелькает строчка.

— Девятый. Шесть в заначке.

Она присвистнула — тихо, сквозь зубы, без всякой радости.

— Девятый, — повторила она. — Я свой четырнадцатый десять лет в лесу нагуливала, подвес. Десять лет. А ты свой девятый — за сколько? За семь декад с хвостиком? — Она покачала головой. — Вот что тебя выдаст, если что. Не жила — жилу я тебе загрязню. Темп. Так быстро не растут. Так растут только… — Она не договорила. Не надо было.

— Знаю, — сказал я. — Потому и не трачу.

— И не трать. Пока. Очки в кармане не видны. А силу в руках видно за версту.

Мы поднялись на гребень последней гряды — и равнины открылись разом, во всю ширь.

Я остановился. Не мог не остановиться.

После одиннадцати дней в лесу-колодце, после декад за частоколом, где горизонт — это ближняя делянка, простор ударил по глазам, как свет по глазам из темноты. Равнины уходили вдаль, плоские, бурые, в зеленоватой дымке, до самого края мира, — сухая высокая трава, редкие плешины камня, нитки сухих русел. Огромно. Открыто. Ни стен, ни крон, ни тени — спрятаться негде. А далеко, очень далеко, на самом пределе зрения, там, где равнина начинала плавиться в дымке, — стоял дым.

Не костёр. Не два, не три костра артели. Дым стоял столбами — многими, частыми, ровными, — сливался поверху в сизую пелену, какая висит только над одним: над большим, постоянным, многолюдным человеческим жильём. Там жгли горны. Там плавили, ковали, варили. Там были сотни людей, а может, и тысячи. Там был рынок жилы, и весы, и те, кто эти весы держит. Там была чистая одежда вербовщиков, про которую писал Первый. Там были ответы.

И там, среди тысяч чужих глаз, мне предстояло стать невидимым.

— Фактория, — тихо сказала Блесна, встав плечом к плечу. Без радости сказала. Она-то знала эти места лучше меня, она оттуда и вышла когда-то, и в голосе её я услышал не «дошли», а что-то вроде «ну вот и оно». — Большая. Не из последних. Весовщикова, похоже, — вон как дымит, богато. — Она покосилась на меня. — Готов, подвес?

— Нет, — сказал я честно. И не усмехнулся на этот раз. Смотрел на дальние дымы и чувствовал, как внутри подбирается, холодеет что-то, чего в лесу не было, — другой, новый, людской холод. — Но когда это меня останавливало.

[Невод] Дэйв. Одно. Пока не спустился.

Я ждал подколки. Привычной, сухой, на дорожку.

[Невод] Там, внизу, я молчу. Совсем. Ты знаешь. Но знай и другое: там, внизу, слушаю не только я. Ты теперь графа отдельная. Тебя считают с той стороны. И любой, слышишь, любой из этих дымов может оказаться не горном, а глазом. Иди к людям. Тебе надо. Но иди так, будто за каждым плечом у тебя стоит тот, кто тебя ищет.

[Невод] Потому что, Дэйв, — скорее всего, так оно и есть.

Я поправил на плече сумку с наследством двух мертвецов. Перехватил плевок. Взял Блесну за руку — сухую, сильную, тёплую, живую, — и шагнул с гребня. Вниз. На равнину. К дымам, к людям, к весам, к ответам и к тому глазу, что, может быть, уже меня там ждал.

Серым. Я должен был войти туда серым.
Посмотрим, подумал я, надолго ли меня хватит.

Глава 2. Ворота

Развал было видно задолго до того, как мы к нему подошли.

Сначала — дымы. Потом, когда равнина пошла под уклон и мы спустились в широкую сухую котловину, — вал. Длинный, бурый, насыпной, в человеческий рост с лишком, он тянулся по краю котловины неровной подковой, и по гребню его торчали колья, рогатки, вкопанные под углом брёвна — не частокол, как у нас в артели, не глухая стена, а что-то грубее и больше, расчётливее: не спрятаться за ним, а задержать того, кто полезет, и перебить сверху, со спокойствием. За валом вставал посад — крыши, навесы, помосты, лепящиеся друг к другу так тесно, так беспорядочно, будто кто-то высыпал из мешка горсть коробок и так и оставил. Над посадом стояли горны — приземистые, пузатые, дышащие жаром и сизым дымом, и от них над всем Развалом висело марево, в котором зеленоватый свет этого мира становился грязно-жёлтым, больным.

Я стоял на спуске и смотрел на это сверху, и мне делалось не по себе. Не от страха — от размаха. Там, внизу, жили не три десятка человек за частоколом, которых всех знаешь по кличке и по походке. Там жили сотни. Может, за тысячу. Столько человеческих лиц разом я не видел уже… да я и на Земле-то, в последние годы, столько разом не видел, разве что в метро в час пик, куда старался не соваться.

— Рот закрой, подвес, — не оборачиваясь, сказала Блесна. — Так на Развал пялятся только те, кто пришёл сюда впервые и кого завтра найдут в канаве без сапог. Иди как ходишь к себе домой. Скучно иди. Устало. Будто тебе тут всё давно обрыдло.

Мне и правда было впору заскучать от усталости, так что совет лёг легко. Я ссутулился, сбавил шаг, подстроился под её ленивую, тягучую походку — походку человека, которому идти некуда и незачем спешить, — и мы влились в жидкий ручеёк других таких же, тянувшихся к воротам. Народ шёл разный. Старатели с мешками сырья за плечами, сгорбленные под грузом. Какой-то мужик тянул за собой волокушу, гружённую тушами тварей, и от волокуши тянуло сладкой тухлятиной. Баба с корзиной. Двое битых жизнью мужиков с одинаковыми, пустыми, всё повидавшими глазами — из тех, мимо кого на узкой тропе лучше пройти, глядя себе под ноги. Все серые. Все усталые. Все — я заметил это сразу, кожей, — сторожкие, как собаки в чужом дворе.

Ворота были не ворота даже, а горловина — проход в валу, сжатый с боков так, что в него проходили по двое, по трое, не больше. И в этой горловине сидела власть.

Их было четверо. Крепкие, сытые — первые сытые люди, которых я увидел на Развале, и это я тоже отметил, отложил в голове: кто у ворот сыт, тот и в посаде главный. Двое с рогатинами стояли по бокам, лениво, привычно оглядывая входящих. А двое сидели за грубым столом, сколоченным прямо тут, в тени навеса, и перед ними лежало то, от чего у меня внутри всё подобралось: весы и книга.

Небольшие рычажные весы, латунные, засаленные до блеска. И толстая книга в кожаной обложке, распухшая, захватанная, с торчащими закладками. Один из сидевших — мятый, с въевшейся в морщины копотью — макал перо и что-то в эту книгу писал. Записывал. Каждого.

— Входную, — скучно сказал он, не поднимая глаз, тому, кто шёл перед нами, — мужику с волокушей. — Или долей с туш. Чем платишь.

Мужик, матерясь вполголоса, отсыпал ему из кисета несколько тусклых капель жилы — застывших, как смола, зеленоватых горошин. Писарь — я про себя сразу назвал его так, писарь — бросил их на чашку весов, глянул, качнул головой: мало. Мужик, скрипя зубами, добавил ещё. Писарь смёл жилу в ящик, обмакнул перо, спросил, не глядя: «Кличка? Откуда? С чем?» — записал ответы кривой строчкой и мотнул головой: проходи.

Вот оно, значит, как. Я смотрел, и у меня медленно, холодно оседало в животе понимание. Тут не просто берут пошлину. Тут всех записывают. Кто вошёл, с чем, откуда. Книга. Толстая, старая книга имён. И где-то — я уже знал это нутром, не рассуждением, — есть кто-то, кому эту книгу однажды покажут. Кто-то в чистой одежде.

[Невод] Книга, Дэйв. Запомни эту книгу. Не весы — книгу.

Я чуть не сбился с шага. Он молчал от самой гряды, всю дорогу вниз молчал — и подал голос тут, у ворот, впервые за полдня. Нарушил свой же уговор. Значит, счёл, что надо. Значит, и вправду важно.

— С чем идёте? — Писарь уже смотрел на нас. Вернее, на меня — Блесну он скользом оглядел и списал со счетов, а на мне задержался: новое лицо, незнакомое, крупный мужик, при оружии. — Входную. И кличка.

— Подвес он, — лениво, прежде меня, встряла Блесна, и голос у неё был теперь другой — ниже, грубее, с ленцой и злинкой, какой я у неё не слышал. Голос бабы, которой всё надоело. — А я Блесна. Свои мы, не впервой. Чего пишешь-то, Мятый, не узнал? Я ж у тебя по весне проходила, с Кривого колена.

Писарь, которого она наугад, нахрапом назвала Мятым, — а он и был мятый, — чуть сбился. Глянул внимательнее. Он её, конечно, не помнил — через эти ворота проходили сотни, — но признаться, что не помнит «свою», было ему невместно, уронило бы перед напарником. И он буркнул:

— Чего не узнать. Входную давай.

Блесна отсыпала пошлину сама — из своего кисета, не из моего, и я понял почему только потом. Она сыпала тусклую, мутную, самую дешёвую жилу — ту, что берут с падальщиков, с мелочи. А моя янтарная, чистая, та, что лежала у меня в сумке рядком, как патроны, — её Блесна к весам и близко не поднесла. Потому что брось я сейчас на эту засаленную латунную чашку хоть одну мою каплю — и Мятый, сколько бы ни был мят и скучен, поднял бы глаза. И посмотрел бы на меня уже иначе. А потом записал бы в свою книгу что-нибудь кривой строчкой — что-нибудь, чего записывать было нельзя.

— С чем идёте, спрашиваю, — повторил Мятый, обмакивая перо. — В книгу.

— Руки продаём, — сказала Блесна. — Он чинит, я чищу. Ремесло при нас, товара нет. Пиши: мастеровые.

Мятый хмыкнул — мастеровых, видать, тут было как грязи, — но записал. Я следил за пером, за кривой строчкой, что ложилась в книгу под нашими кличками, и чувствовал себя так, будто меня при всех раздевают. Будто этим скрипучим пером меня прикалывают к бумаге, как жука к доске. Подвес. Мастеровой. Вошёл в такую-то декаду. Серая, пустая, ничего не значащая строчка — одна из тысяч. Ровно такая, какой мне и надо было быть.

И всё равно — пока перо скрипело, я поймал себя на том, что мне физически хочется вырвать у него эту книгу и сунуть в ближайший горн.

— Проходите, — сказал Мятый и уже смотрел мимо нас, на следующих.

Мы прошли.

И Развал проглотил нас, как кит проглатывает мелкую рыбёшку, — разом, целиком, не поперхнувшись.

Внутри был ад. Весёлый, грязный, оглушительный людской ад. Узкие кривые проходы между навесами, в которых толклись, толкались, орали, торговались, бранились люди. Запахи — горелое, жареное, тухлое, кислое, человеческий пот, вонь немытых тел, дым, гарь, и поверх всего — сладковатый, сосущий, ни на что не похожий дух жилы, которой тут было столько, что она пропитала, кажется, самый воздух. Где-то била кувалда по металлу — ровно, тяжело, бесконечно. Где-то визжала не то пила, не то тварь. Кричал зазывала. Плакал ребёнок — ребёнок! живой человеческий ребёнок, которого я не слышал уже целую жизнь, — и от этого обыденного, домашнего звука у меня вдруг перехватило горло так, что пришлось сглотнуть.

— Не глазей. — Блесна поймала меня за рукав, протянула через особо плотный людской узел, провела боком, впритирку, привычно, как ходят по своему. — Держись за мной. Руку на сумку. Кошель — под себя. Тут половина народу живёт тем, что у второй половины плохо пришито. Понял, подвес?

— Понял, — сказал я, кладя ладонь на сумку с наследством мертвецов. Там, под клапаном, лежало почти всё, что у меня было ценного в этом мире: журнал и чистая жила. Отдать это — всё равно что отдать себя.

Мы шли сквозь рынок, и я, как ни велел мне рассудок не глазеть, глазел — украдкой, из-под бровей, жадно впитывая этот новый, невозможный, многолюдный мир. Ряды, где торговали жилой, — за столами, на весах таких же засаленных, как у ворот. Ряды с железом — наконечники, болты, ножи, топоры, куски брони, сшитые из пластин тварей и обрезков настоящего, корабельного металла. Ряды со жратвой — вяленые полосы мяса, бурые лепёшки, корзины с чем-то, что я не взялся бы опознать. Знахарка, раскладывающая на тряпице сушёные потроха. Меняла. Костоправ, прямо тут, при народе, вправляющий кому-то вывих под его сдавленный вой.

На меня налетели у рыбного — вернее, у того, что тут сходило за рыбное: за прилавком вялили длинные, плоские, безглазые туши каких-то речных тварей, и вонь стояла такая, что я на миг отвлёкся, повёл носом, скривился. Одного мига и хватило. Что-то скользнуло вдоль моего бока — лёгкое, быстрое, умелое, — и я скорее почуял, чем понял: рука. Чужая рука у клапана моей сумки. У сумки с наследством мертвецов, с журналом, с янтарной жилой — со всем, что у меня было в этом мире.

Я не успел ничего. А Блесна успела.

Она даже не повернула головы. Просто её ладонь мелькнула — коротко, без замаха, как мелькает язык у ящерицы, — и сомкнулась на тонком чужом запястье за миг до того, как это запястье нырнуло бы обратно в толпу. Поймала. Держала. И только теперь, не спеша, повернулась посмотреть, кого поймала.

Это был мальчишка. Лет десяти, может, меньше, — не поймёшь, тут дети росли медленно, впроголодь. Худой, чумазый, с острыми голодными глазами и быстрыми, ловкими, уже вороватыми пальцами, которыми он всё ещё сжимал — не успел бросить — не моё, слава богу, а пустоту: сумку он открыть не успел, Блесна поймала раньше. Он не вырывался. Замер, как замирает пойманный зверёк, и смотрел на Блесну снизу вверх — не со страхом даже, а с тем тоскливым, взрослым смирением, с каким глядит на свою беду тот, кому беда не впервой.

Я ждал, что она крикнет, поднимет шум, сдаст его страже или отвесит оплеуху — как положено на рынке с пойманным воришкой, чтоб другим неповадно. По Развалу я уже понял: тут за руку в чужом кармане калечат, не церемонясь.

Блесна не крикнула. Она подержала тонкое запястье ещё миг, разглядывая мальчишку своими холодными умными глазами, — и в этих глазах мелькнуло что-то, чего я не ждал. Узнавание. Будто она смотрела не на воришку, а в какое-то старое, выцветшее зеркало.

— Плохо берёшь, — сказала она негромко, буднично, почти ласково, и разжала пальцы. — Повело тебя на запах, как и его. Нельзя на запах. Нос — это у тебя для еды, а для работы — глаза и уши. И не лезь к тому, у кого баба рядом. Баба зыркнет — считай, попался. Лезь к одиноким, к пьяным, к тем, кто сам глазеет, рот разинув. Вон, гляди. — Она, не оборачиваясь, кивнула на какого-то приезжего, что стоял у соседнего ряда, задрав голову, и пялился на Развал ровно так, как пялился я четверть часа назад. — Вон твоя добыча. А не мы. Понял, мелочь?

Мальчишка смотрел на неё, разинув рот, — не веря, что его не бьют, не держат, не сдают, а учат. Потом шмыгнул носом, кивнул — быстро, недоверчиво — и растворился в толпе, только его и видели.

— Ты его отпустила, — сказал я. — И ещё поучила.

— Отпустила, — согласилась Блесна, и голос у неё был ровный, но я уже научился слышать, когда за её ровностью что-то есть. — А чего мне его, страже сдать? Чтоб ему пальцы переломали за полпустой сумки? — Она двинулась дальше сквозь толпу, и я за ней. — Я сама такая была, подвес. Здесь же, на равнинах, по таким вот факториям. Голодная, вороватая, быстрая. Меня один раз поймали за руку — не поучили, нет. Пальцы сломали. Два. Вот эти. — Она чуть шевельнула левой кистью, и я впервые заметил, что два пальца на ней лежат чуть-чуть не так, чуть криво, сросшиеся когда-то наспех. — С тех пор я ими силки вяжу хуже, чем могла бы. Всю жизнь. За полпустой сумки. — Она усмехнулась, криво. — Так что нет, подвес. Ломать детям руки я тут никому не дам. Даже если они лезут к тебе. Это у меня своё. Не трогай.

Я не тронул. Я шёл за ней и думал, что знаю эту женщину уже не первую декаду, сплю с ней бок о бок, иду с ней в самое пекло, — а она всё открывается мне новой гранью, как открывается хороший инструмент, которым пользуешься каждый день и вдруг находишь в нём ещё одно, незнакомое лезвие. Кривые пальцы. Сломанные тут, на этих самых факториях, в её вороватом голодном детстве. Вот откуда она знала каждый лаз, каждый водосток, каждый закоулок. Вот откуда её чутьё на таких, как Скоба, как Тихоня, как этот мальчишка. Она была отсюда. Из этого самого ада, в который я только входил чужаком, глазея. Она в нём выросла.

А потом я увидел чистых.

Их было двое, и они стояли у большого, крытого хорошим тёсом помоста в глубине рынка — там, где, судя по всему, и была главная весовая, сердце Развала. Двое в одежде, которой тут не носил никто. Не в шкурах, не в латаном тряпье, не в комбинезонах, прожжённых и заскорузлых от работы, — а в чистом. В ровном, светлом, фабричном. Без единого пятна. На этом рынке, в этой грязи и копоти, их чистая одежда сияла, как сияет здоровый зуб в гнилом рту, — и так же неуместно, так же тревожно.

Они ничего не делали. Просто стояли у помоста, спокойные, сытые, с той особой, ненашей осанкой людей, которым ничто тут не угрожает, — и смотрели. На рынок. На людей. На проходящих. Один держал в руках плоскую доску-планшет и время от времени что-то на ней помечал.

Записывал.

У меня по спине прошёл холод — тот самый, ненаший, людской, которого в лесу не было. Я опустил глаза, ссутулился ещё сильнее, стал ещё скучнее, ещё серее, ещё незаметнее — и прошёл мимо, в людском потоке, одним из сотен, никем. Чистые на меня не взглянули. С чего бы им. Мало ли серых мастеровых течёт через Развал за декаду.

Но Невод, молчавший в толпе намертво, именно в тот миг, когда мы поравнялись с чистыми, сделал то, чего не делал никогда. Он не сказал ни слова. Он просто — на один удар сердца — умолк так, что я это услышал. Так умолкает лес, когда мимо проходит кто-то, кого боятся больше, чем чужих.

И от этой его тишины мне стало страшнее, чем от любых слов.

— Весовщиковы люди, — тихо сказала Блесна, когда мы отошли, и в голосе её не было ни ленцы, ни злинки — одна ровная, трезвая опаска. — Нет. Бери выше. Это не Весовщиковы. Это те, под кем сам Весовщик ходит. — Она покосилась на меня. — Видал, подвес, какая тут лестница? Ты думал, страшнее леса не бывает. Бывает. Пойдём. Нам бы дотемна найти, где притулиться, и к кому в руки проситься. Иначе ночевать на Развале без крыши — это, считай, самому в ту канаву лечь, без сапог.

Я кивнул. И пошёл за ней, серый, незаметный, никто, — в самое сердце человеческого муравейника, где меня было нельзя разглядывать и где всё, оказывается, уже кто-то записывал в толстую кожаную книгу.

Добро пожаловать к людям, Дэйв. Шанс дожить тут до заката, подумал я чужими, давно знакомыми словами, — невысокий.

Глава 3. Весовщик

Проситься в руки мы пошли не к Весовщику. К Весовщику таких, как мы, не пускают — это я понял быстро. К Весовщику идёт жила, большая жила, большими караванами, а такие, как мы, идут к тем, кто стоит под Весовщиком, под теми, а те — под кем-то ещё, и так вся лестница Развала, сверху донизу, стоит одна на другой, как грузчики в цепочке, передающие мешки, только мешки эти — люди.

Нас приткнула Скоба.

Нашла нас Блесна — у неё на таких, как Скоба, было чутьё, звериное, безошибочное. Мы толклись у кузнечного ряда, приглядываясь, прислушиваясь, и Блесна вдруг повела меня в сторону, к навесу, под которым немолодая, кряжистая баба — руки по локоть в саже, лицо широкое, грубое, битое — ругалась с тощим заказчиком из-за треснувшего горна. Горн у неё и впрямь дышал на ладан: кладка пошла трещиной, тяга падала, металл в нём грелся вполсилы, а переложить его было некому — мастеровые на Развале, объяснила она потом, все при деле, а кто не при деле, тот руки из нужного места не растит.

Я послушал эту ругань минуты две. Подошёл. Присел у горна. Поглядел на трещину, на тягу, на то, как сложена кладка, — глазами человека, который двадцать лет своей земной жизни чинил то, что ломается, из того, что есть под рукой. И сказал:

— Не в трещине дело, хозяйка. Трещина — следствие. У тебя поддувало забито и заслонка перекошена, вот её и ведёт от перегрева, вот кладка и лопается. Переложить — полдня. А чтоб снова не повело — тебе под заслонку нужна проставка. Железной нет — так я тебе из пластины Секача вырежу, она жар держит не хуже. Будет?

Скоба — её звали Скоба — посмотрела на меня так, как смотрят на говорящую собаку. Потом на Блесну. Потом снова на меня.

— Руки-то откуда, мастеровой? — спросила с подозрением. — Чей будешь? С чьего двора?

— Ничей, — сказал я. — Прилов. Лес прошёл, теперь к людям. Руки при мне, двора нет. Ищу, к кому приткнуться.

Это была правда — ровно та её часть, которую можно было говорить. Прилов, прошедший лес, — таких на Развале было много, целая порода, их не любили, но и не чурались: битый лесом человек жилист и на работу зол. А про всё остальное — про метку, про Невод, про журнал мертвеца у меня в сумке — я молчал, и буду молчать, пока жив.

Скоба подумала. Прикинула. Такие, как она, всё считают быстро, в уме, без пера и книги: даровые руки, которым некуда деться, — это дёшево, а горн чинить надо.

— Складно врёшь или вправду рукаст — поглядим, — сказала она наконец. — Клади проставку. Переложи горн. Выйдет толк — есть у меня угол под навесом и миска в день, на двоих. А баба твоя что умеет?

— Баба его, — сказала Блесна ровно, без обиды, но так, что Скоба на неё взглянула по-новому, — чистит. Жилу чистит. Мутную в полуясную выведу, полуясную — почти в ясную. И силки тебе на падаль поставлю такие, что мясо само в котёл пойдёт. Руки у меня, хозяйка, подороже его будут. Это он гвозди загибает, а я — тонкая работа.

Вот тут Скоба уважительно крякнула. Очистник на Развале — это было не «баба при мужике». Очистник — это деньги. Мутная жила и ясная жила — разница в цене втрое, вчетверо, а разница между ними — чьи-то умелые руки. Таких рук на вес золота.

— Ну, поглядим и тебя, — сказала Скоба уже другим тоном. — Кладите хозяйство под навес. С горна начнём.

Горн я ей переложил к вечеру. Вырезал проставку из пластины — у Скобы в углу валялась дохлая туша Секача, и пластины на ней были в самый раз, жаростойкие, я их ещё в артели

навострился обрабатывать. Перебрал поддувало, выправил заслонку, переложил треснувшую кладку, промазал составом, который Скоба держала для таких дел. К ночи горн у неё дышал ровно, тянул жадно, грел в полную силу — лучше, чем до трещины. Скоба стояла, смотрела на огонь, на ровное гудящее пламя, и лицо у неё было такое, какое бывает у человека, которому вернули то, что он уже мысленно похоронил.

— Рукаст, — сказала она коротко. И это было всё. Но из её грубого, скупого рта это стоило длинной похвалы.

А у меня в голове, пока она смотрела на огонь, мелькнула строчка — тихо, по уставу, без единого лишнего слова, как Невод теперь говорил, когда рядом стояли чужие:

[Невод] Навык «Из подручного хлама»: уровень 2.

Я не дрогнул лицом — выучился. Только пальцы, лежавшие на тёплой кладке, сами собой сжались. Второй. С того вечера в лесу, когда Невод присвоил мне этот навык над костром из капсульной проводки, он не прибавил ни разу — ни на очистнике Сома, ни на обороне ложбины. Видно, копилось — по капле, со всего, что я чинил и ладил в артели, — и перелилось через край вот тут, на чужом горне, от которого зависело, будет ли у нас с Блесной крыша. И руки это сразу почуяли: кладка под ладонью стала понятнее, будто я видел сквозь неё — где ей тяжело, где она устала, куда пойдёт следующая трещина, если её не упредить. Держи, родная, подумал я. Теперь продержишь.

Так мы и приткнулись. Угол под навесом у Скобы — тесный, дымный, зато свой, зато с крышей и с краем, который можно было звать «наш». Миска похлёбки в день. И работа — руками, за которую не спросят, кто ты и чей, а спросят только, крепко ли держит и ровно ли сделано.

Соседей наших я приметил на второй день. Через проход, под латаным навесом, жила молодая баба с мальчонкой лет восьми — одна, без мужа; где муж, я не спрашивал, тут не спрашивали, тут у половины баб мужей забрали прежние переписи. Звали её Лейка — за то, что воду разносила по рядам, подрабатывала, как многие. Тихая, работящая, вечно замотанная. А мальчонка — Клёст, вертлявый, любопытный, лопоухий — целыми днями крутился у Скобиного горна, глазел, как я работаю, лез под руку, таскал гвозди, спрашивал без умолку: а это что, а это зачем, а правда, что ты из леса пришёл, а там страшно? Я его гнал поначалу, а потом перестал — приладил ему держать железо, подавать, и он сиял от этого так, будто его в мастера произвели. Напоминал мне кого-то. Малька, лопоухого, сгинувшего в той, первой Прорве. И от этого я его гнать уже не мог.

Лейка за это — за то, что я не гнал её Клёста, возился с ним, — таскала нам то лепёшку лишнюю, то щепоть чего повкуснее, стесняясь, отнекиваясь. И как-то вечером, когда зеленоватый свет дня садился и над Развалом на минуту, на одну короткую минуту, разошлось марево и небо стало не грязно-жёлтым, а тускло-зелёным, глубоким, почти красивым, — она села с нами у горна, и мы ели её лепёшки, и Клёст уснул у меня под боком, пригревшись, сопя, доверчиво, как спят только дети, которым некого бояться. И я сидел, боясь шевельнуться, чтоб не разбудить, с чужим тёплым ребёнком под боком, под тускло-зелёным небом, у живого огня, среди людей, которые делились со мной последней лепёшкой, — и думал, что вот оно. Вот та самая новая жизнь, которую мне продавали на билборде. Не купола, не поля — а это. Тёплый горн, чужой доверчивый ребёнок под боком, лепёшка пополам. Малость. А у меня и этого сорок лет не было.

Я тогда ещё не знал, что ровно за эту малость — за Клёста, за Лейку, за тёплый горн — мне скоро придётся драться. И что эта малость станет той трещиной в моей серости, которую я так берёг и которую проломит во мне один взбесившийся Секач.

Блесна приткнулась ещё крепче моего. Очистник на Развале был нарасхват, и слава о ней пошла быстро — быстрее, чем мне бы хотелось.

Я смотрел, как она работает, и дивился. Очистка жилы — это я теперь понял — была ремеслом не силы, а терпения и чутья. Мутную жилу, что брали с мелкой твари, с падали, — тусклую, серую, дешёвую, — умелые руки могли вывести, выпарить, отстоять так, что она светлела, яснела, набирала цену. Как это делается, я толком не разобрал, да и не моего ума было дело: Блесна возилась с ней часами, над особым, медленным жаром, с какими-то щёлоками, тряпицами, костяными лопаточками, нашёптывая над котелком, как знахарка, — и из-под её кривых, сломанных когда-то пальцев мутная дрянь выходила полуясной, а то и ясной, втрое, вчетверо дороже против того, какой пришла. Это были деньги. Это была та самая тонкая работа, за которую на Развале не спрашивали, кто ты и чей, а платили, и платили хорошо.

К ней потянулись. Перекупщики помельче, старатели, у кого завелась мутная добыча и кому жалко было отдавать её за бесценок, — несли Блесне, в Скобин угол, и она чистила, брала долю, и доля эта скоро стала поболе того, что зарабатывал я у горна. Меня это не задевало — наоборот, я гордился ею, тихо, по-дурацки, как гордятся не своим даже, а чужим, которое тебе дороже своего. Но была и тревога: слава очистника — это внимание. А внимание нам обоим было ни к чему.

— Ты осторожнее, — сказал я ей как-то вечером. — Хорошо чистишь — заметят. Про хорошего очистника говорят. А нам бы потише.

— А я и чищу так, чтоб потише, — отозвалась Блесна, не отрываясь от котелка. — Думаешь, я не умею лучше? Умею, подвес. Я могу вывести мутную в такую ясную, что у Сыча глаза на лоб. Только я так не делаю. Я вывожу — в среднюю. В крепкую, но не в диво. Чтоб хвалили, да не ахали. Чтоб говорили «хороший очистник», а не «небывалый». Небывалый — это как твоя чистая жила, подвес. Это сразу вопрос: откуда руки такие? А хороший — это просто баба, каких на фактории десяток. — Она покосилась на меня, и в холодных глазах мелькнула усмешка. — Я, подвес, всю жизнь прячусь. Я умею быть хорошей, но не лучшей. Это целое искусство — быть хорошей, но не лучшей. Ты вот ему только учишься, да и то плохо. А я в нём выросла.

Я смотрел на неё — склонённую над медленным жаром, с кривыми пальцами, выводящую мутную жилу ровно настолько, чтоб хвалили, да не ахали, — и понимал, что она права, и что я правда только учусь тому, чем она живёт с детства. Быть хорошим, но не лучшим. Серым, но полезным. Заметным ровно настолько, чтоб не умереть с голоду, и ни на волос больше. Это была наука выживания среди людей — тоньше, труднее лесной. В лесу надо было быть сильнее тварей. Тут — незаметнее людей. И второе давалось мне куда хуже первого.

Первые дни на Развале я почти верил, что получится. Что можно вот так — серым мастеровым при Скобе, незаметной горошиной в толстой кожаной книге, — прожить. Переждать. Осмотреться. Понять, как тут всё устроено, где сидят чистые, что это за перепись, о которой все говорят вполголоса, как дотянуться до тех, кто сверху, и при этом не попасться тем, кто ищет. План был простой, рабочий, мой: врасти, присмотреться, не высовываться. С такими планами я умел.

Подвёл меня, как всегда, пустяк. Жила.

На третий или четвёртый день Скоба послала меня в жильный ряд — снести перекупщику долю, что причиталась ей за какую-то старую сделку. Долю эту она отсыпала мне в кисет сама, мутной жилой, и велела отдать перекупщику по кличке Сыч, не торгуясь, молча. Я и пошёл молча. Всё бы ничего — да в том же кисете, по дурости, по неопытности, по тому, что голова у меня была занята горном и заслонками, а не осторожностью, завалялась одна моя капля. Одна. Янтарная. Я и не помнил, как она туда попала, — верно, зацепил нечаянно, пересыпая из сумки.

Сыч — рыхлый, одышливый, с цепкими заплывшими глазками — высыпал Скобину долю на чашку, качнул, кивнул: сходится. И уже сметал её в ящик, когда его заплывший глаз

вдруг зацепился за ту единственную каплю. Остановился. Он выудил её толстыми пальцами, поднял к свету, к тусклому зеленоватому свету дня, прищурился. Повертел.

И посмотрел на меня.

Я сразу понял, что влип. По тому, как изменилось его одышливое, рыхлое лицо, — изменилось не жадно даже, а настороженно, цепко, по-охотничьи. Так смотрит перекупщик, которому в горсти серой мелочи попалось зерно, какого тут отродясь не водится.

— Это откуда у тебя, мастеровой? — спросил он тихо. Очень тихо, будто боялся спугнуть. — Это чья работа? Кто чистил?

— Какая? — Я пожал плечами, глядя в сторону, скучно, лениво, всем своим видом показывая, что вопрос мне непонятен и неинтересен. — Намешалось, видать, с чужого. Хозяйкино всё, не моё. Я мальчик на побегушках.

— Намешалось, — повторил Сыч, не сводя с меня глаз, и в голосе его не было ни капли веры. — Мастеровой. Это не «намешалось». Это ясная жила. Чистая. Такую на Развале чистят от силы три человека, и всех троих я знаю в лицо, и все трое мне такую в серой горсти не сунут, потому что ей цена — как твоей хозяйке за полгода. — Он подался ко мне, насколько позволяло рыхлое брюхо, и понизил голос ещё. — Так кто чистил, а? Ты скажи. Я не в обиду. Я в долю. Мне такой очистник — знаешь как нужен? Я ж тебе…

— Хозяйкино, — повторил я упрямо, тупо, как повторяет одно и то же работяга, которому неохота вникать. — Не знаю я. Отдал — и пошёл. Сходится у тебя? Сходится. Бывай.

Я забрал кисет — вместе с проклятой каплей, Сыч нехотя отдал, цепляясь за неё взглядом, — повернулся и пошёл. Спина у меня была деревянная. Я чувствовал этот заплывший, цепкий взгляд затылком всю дорогу, пока не свернул за ряды, пока не растворился в толпе.

Невод дождался, пока я выберусь из ряда и затеряюсь в толкотне, — и только тогда нарушил молчание:

[Невод] Вот так, Дэйв. Одна капля. Одна твоя дурацкая капля — и тебя уже помнят. Я говорил: там, внизу, слушают. Он не ищет меченого. Он про меченых и не думает, ему и в голову не придёт. Он думает — «чистый очистник, большие деньги». Но запомни, как это работает: сначала они видят чистую жилу. Потом ищут руки, что её чистят. А когда не находят рук — начинают искать причину. И вот тогда, Дэйв, к ним и приходят те, в чистом, и спрашивают: а что это у вас тут за чистая жила без рук? Не метка ли?

Я шёл сквозь толпу и молчал. Молчал, потому что он был прав, весь, до последнего слова, и возразить было нечего. Я прожил на Развале четыре дня — и уже наследил. Уже оставил зарубку в чьей-то памяти. Четыре дня — и трещина.

А вечером я впервые увидел Весовщика.

Он прошёл через рынок — не часто такое бывало, Блесна сказала, он редко спускается с помоста, — и рынок перед ним раздался сам собой, без крика, без стражи, просто раздался, как раздаётся трава под ветром. Невысокий. Плотный. Немолодой. В добротной, но не чистой — не фабричной, нашей, людской, только дорогой — одежде. Лицо спокойное, тяжёлое, умное. Руки за спиной. Он шёл не спеша, оглядывая свой рынок — свой, это было видно по тому, как он смотрел, — и во взгляде его не было ни жадности, ни злобы, ни спеси. Было другое, хуже. Был счёт. Он шёл и считал — глазами, на ходу, привычно: это столько-то, этот должен, этот годен, этот нет, этот зажился. Так приказчик обходит склад. Так мясник оглядывает стадо.

Он прошёл шагах в десяти от меня. Скользнул взглядом — по толпе, по мне в толпе, по мне как по части толпы. Не задержался. Я был для него грузом, одним из многих, цифрой на чашке.

И всё равно, когда этот спокойный, считающий взгляд прошёл по мне, у меня внутри всё сжалось. Потому что я вдруг понял, глядя на него, очень ясно, очень холодно, вот что: этот человек меня продаст. Не со зла. Не из ненависти. А ровно так же, спокойно и считая, как он продаёт жилу, туши, доли, места. Если однажды кто-то в чистом придёт к нему и скажет: «нам

нужен тот, у кого чистая жила без рук», — Весовщик не станет меня защищать. Он посчитает. Прикинет, что я ему стою и что за меня дадут. И отсыплет меня на чашку весов, как отсыпают жилу.

Он держал весы Развала. А кто держит весы — тот рано или поздно взвесит и тебя.

— Насмотрелся? — тихо спросила Блесна, возникая рядом; она всегда возникала рядом, когда мне становилось холодно. — Идём, подвес. Скоба похлёбку налила. Остынет.

Я пошёл за ней, к навесу, к тёплому горну, к миске, к нашему углу с краем. И думал о том, что четыре дня — это, кажется, всё, что мне было отпущено на спокойную, серую жизнь. Что трещина уже пошла. И что чинить её, в отличие от горна, я не умею — потому что эта трещина во мне самом.

Глава 4. Чистая одежда

Развал жил долгами.

Я понял это не сразу — не в первый день и не во второй. Понял постепенно, как понимаешь устройство незнакомого цеха: приглядываясь, кто кому кивает, кто перед кем тушуется, кто у кого берёт в долг и как с ним потом за это разговаривает. И когда понял — у меня по спине снова прошёл тот холодок, которого в лесу не было.

Тут все были должны. Старатель был должен перекупщику — за снарягу, за болты, за то, что брал под будущую добычу. Перекупщик был должен тому, кто покрупнее, — за место, за долю, за защиту. Тот, кто покрупнее, был должен Весовщику — за всё сразу, потому что Весовщик держал весы, а весы на Развале — это как вода в пустыне, без них никуда. А Весовщик… Весовщик, шептала Блесна, был должен чистым. И это был единственный долг на всём Развале, который никто не смел не отдать.

Долг тут был не бедой, а сбруей. На нём ходили. Им держали. Задолжал — и ты уже не вольный мастеровой, ты уже чей-то, пристёгнут, и дёрнуться некуда: дёрнешься — напомнят. Скоба мне это растолковала на второй вечер, грубо, коротко, как всё, что она говорила, — чтоб я, не приведи бог, не вздумал брать у кого на Развале ни капли в долг.

— Взял — пропал, — сказала она, мешая в котле. — Тут долг не прощают и не забывают. Тут долгом тебя в землю врастят по маковку. Сам видел книгу на воротах? Думаешь, они там кличками балуются? Они там счёт ведут. Кто вошёл, кто вышел, кто чего должен, кто чего стоит. Весь Развал — одна большая книга долгов, мастеровой. И ты в ней теперь строчка.

Я эту книгу запомнил. Невод велел — я и так бы запомнил.

Как работает долг, я увидел своими глазами на пятый, кажется, день — и зрелище это я запомнил крепче всех объяснений Скобы.

У соседнего навеса жил старатель — немолодой уже, жилистый, с лицом честного работяги, каких я навидался на Земле по цехам. Он задолжал. Не Весовщику — помельче, перекупщику, под будущую добычу: взял снаряги, болтов, жилы на дорогу, думал — отобьёт с угодий. А угодья не дали. Вернулся пустой, битый, едва живой — тварь попортила, добычу бросил, спасаясь. И долг повис. А долг тут, я уже знал, не прощают.

Пришли за ним без крика. Двое, от перекупщика, спокойные, скучные, как приходят не грабить, а взыскивать по праву. Они не били его. Они просто считали. Перебрали его хозяйство — инструмент, снарягу, то немногое, что было, — и забрали в счёт. Потом сочли, что не хватает. Тогда забрали то, чем он зарабатывал: его собственный очистной короб, кормилец, без которого он уже не старатель, а никто. Потом сочли, что всё равно не хватает. И тогда один из них раскрыл книгу — маленькую, свою, не воротную, но такую же захватанную, — обмакнул перо и записал остаток. Переписал долг на новый срок. С прибавкой. За просрочку.

— Отработаешь, — сказал он старателю буднично, пряча книгу. — Теперь на нас работать будешь, пока не покроешь. С коробом нашим, нашей снарягой, нашу долю. Что накопаешь — сперва в долг, потом себе. Если останется. — Он похлопал его по плечу, почти ласково. — Не кисни. Все так живут. Главное — не помирай раньше, чем покроешь. А то долг на сынишку перейдёт. Так положено.

И ушли. А старатель остался стоять посреди своего разорённого навеса — без инструмента, без короба, без снаряги, зато с долгом, который теперь не покрыть и за десять лет, который перейдёт на сына, а с сына — на внука. Он не плакал, не кричал, не рвал на себе рубаху. Он просто стоял и смотрел в пустоту, с тем тихим, всё понявшим лицом, какое я видел потом у многих на Развале, — лицом человека, которого долг взнуздал окончательно и навсегда.

Я отвернулся. Мне было тошно — и знакомо. Потому что я ведь тоже так. Записал когда-то номер с билборда, взял их «подъёмные», подписал контракт в один конец — и отработал его

собственной жизнью. Долг. Сбруя. Та же, что тут, только оформленная красивше, с девушкой в белом вместо перекупщика с книжкой. Развал хотя бы честен: тут долг надевают на тебя в глаза, при свидетелях, пером по бумаге. А мне его надели с улыбкой, под музыку, пообещав новую жизнь с чистого листа.

— Вот потому, мастеровой, — сказала Скоба, проследив мой взгляд, — я тебе и твердила: не бери тут в долг ни капли. Видал? Вот она, петля. Её на тебя надевают один раз, тихо, под будущую добычу, под нужду. А снять уже нельзя. Только в землю с ней ложатся. Или на сына перевешивают. — Она сплюнула. — Весь Развал в этой сбруе ходит. От ворот до помоста. Оттого и покорный. Должнику не до бунта. Должник за долг держится, как за соломину, и кланяется, кому велят. Чистые это знают. Они нас долгом и держат — крепче любого вала. Понял теперь, отчего тут все серые? Серый — это который в сбруе и знает, что дёрнешься — удавит.

Грязнить себя я научился быстро. Не жилу — себя. Я и раньше умел быть незаметным; на Земле, в последние годы, я целыми днями был незаметным поневоле — лишний, терпимый, из тех, на ком взгляд не задерживается. Тут это умение вдруг оказалось не позором, а бронёй. Я нарочно работал чуть хуже, чем мог. Чинил крепко, но некрасиво, грубо, как чинит средний рукастый мужик, а не как чинит тот, у кого руки думают. Жилу Скобе носил только мутную, только серую, а если в кисет закатывалась чистая капля — теперь я проверял кисет по три раза, как проверяют карманы перед дракой. Говорил мало, глупо, по делу. Смеялся невпопад. Был скучен. Был сер.

И всё равно за мной уже тянулся след. Сыч, рыхлый перекупщик, при встрече теперь кивал мне — приторно, цепко, как кивают тому, на кого имеют виды. А раз или два я ловил на себе и другие взгляды — короткие, оценивающие, из толпы, непонятно чьи. Может, мерещилось. А может, и нет. На Развале, я уже усвоил, если тебе кажется, что за тобой смотрят, — скорее всего, не кажется.

А потом пришли чистые. По мою душу.

Не те, у помоста, не Весовщиковы хозяева — эти бы на такого, как я, и не глянули. Пришёл один, пониже рангом. Вербовщик.

Он объявился у Скобиного навеса под вечер, когда работа стихала. Молодой — моложе меня, крепкий, гладкий, с ровным, располагающим, хорошо вымытым лицом, какого на Развале не носил никто. Чистая светлая куртка, чистые руки, чистые, аккуратно стриженные ногти. От него пахло — я поймал этот запах и чуть не отшатнулся, так давно его не слышал, — пахло мылом. Простым мылом. И этот домашний, человеческий, из прошлой жизни запах на фоне гари и тухлятины Развала бил по нервам сильнее любой вони.

— Хозяйка, — сказал он Скобе, приветливо, уважительно, и Скоба перед ним вся подобралась, оробела, стала меньше ростом. — Мне сказали, у тебя новый мастеровой. Рукастый. Горн вон как сложил — на весь ряд говорят. Это он?

— Он, — буркнула Скоба, не глядя на меня. — Подвес. Прилов, лес прошёл. Рукаст, да. А что?

— А то, что рукастые люди — на вес золота, — улыбнулся вербовщик и повернулся ко мне всем своим гладким, располагающим лицом. — Лосев, — представился он и даже протянул чистую руку, чего тут не делал никто. Я пожал — его ладонь была мягкая, тёплая, сухая, ладонь человека, который ничего тяжелее пера не поднимал. — А тебя, значит, Подвесом кличут. Присядем, Подвес? Разговор есть. Хороший разговор, не пугайся. Я ж не долг пришёл трясти.

Мы присели — он на чурбак, который Скоба ему торопливо подкатила, я напротив. И он заговорил.

Говорил он хорошо. Складно, тепло, по-человечески. Он говорил, что компания — «Новый Горизонт», он так и сказал, и у меня внутри всё оборвалось от этих двух слов, — что компания ценит рукастых, толковых, крепких людей. Что не всем же гнить на Развале, в грязи,

в долгах, среди жулья. Что есть места получше. Чистые сектора — настоящие, обустроенные, с крышей, с едой, с порядком, с водой из крана. Что таким, как я, — толковым, работящим, битым, — там рады. Нужны мастеровые. Нужны крепкие руки. Отбор, конечно, есть — не всякого берут, — но я-то, он уверен, пройду. Условия хорошие. Контракт честный.

— Уровень-то какой у тебя, Подвес? — спросил он между делом, всё так же тепло, как спрашивают про здоровье. — Для бумаги. Там, в секторе, по уровню и место дают.

— Шестой, — сказал я. Не моргнув. Скучно, как называют размер сапог. — Кажись. Я их не больно считаю.

Он кивнул — довольно, без тени сомнения. Шестой у мастерового — это крепкий, годный мужик, и только. Девятый же у прилова, который вышел из леса всего ничего назад, — это уже вопрос. А на такие вопросы, я знал, у чистых есть особые люди. Невод в голове промолчал — при чужих он теперь обычно помалкивал, — но мне почудилось в этом молчании одобрение.

— Подумай, Подвес, — говорил он мягко, глядя мне в глаза своими чистыми, ясными, располагающими глазами. — Что тебе тут? Долги, гарь, канава без сапог. А там — жизнь. Настоящая. С чистого листа.

С чистого листа.

Я сидел и слушал, и у меня перед глазами, поверх его гладкого лица, стояла другая картинка — выцветший билборд у проходной, девушка в белом, купола, поля. «Новая жизнь с чистого листа». Тот же голос. Честное слово, тот же самый голос — не по звуку, по сути. Тот же тёплый, складный, располагающий голос, что пел мне с билборда, что читал мне контракт, глядя в стол, что усыпил меня в капсуле и сбросил в решето. Я этот голос знал. Я на этот голос однажды уже купился — и заплатил всей своей прежней жизнью, долгами, подписью, дорогой в один конец.

И ещё я вспомнил письмо Первого. Пластину, выцарапанную иглой. «За меченым по пятам ходят корпоративные вербовщики в чистой одежде. Его сватают, его перекупают, его стерегут. А однажды утром он просто исчезает. Меченых забирают, незнакомец. Ни один не вернулся, чтобы рассказать».

Вот он. Вербовщик в чистой одежде. Сидит напротив, пахнет мылом, улыбается и зовёт меня в чистый сектор, с чистого листа. Знает ли он, кто я? Нет. Не может знать. Он пришёл на горн, на молву, на рукастого мастерового — он сватает всех толковых, подряд, это его работа, его невод, которым он процеживает Развал в поисках годного материала. Я для него — просто годный материал. Пока.

Но если я пойду с ним — если дам себя увести в чистый сектор, под крышу, под порядок, под отбор, — там меня будут мерить. Долго, пристально, по-настоящему. Там чистую жилу не спрячешь. Там замер, с которым я слушаю пустой воздух, заметят в первый же день. И тогда гладкое лицо Лосева станет другим лицом. А «новая жизнь с чистого листа» обернётся столом, скальпелем и поиском Нулевого в моей распоротой голове.

— Спасибо на добром слове, — сказал я, и сам услышал, до чего тускло, скучно, поработяжьи это прозвучало. Хорошо прозвучало. Правильно. — Только я, мил человек, своё отходил. Мне бы тихо тут дожить, при хозяйке, при горне. Не гожусь я в чистые сектора. Там порядок, а я лесом порченый. Мне б попроще.

Лосев глядел на меня ещё мгновение — и в его чистых, располагающих глазах мелькнуло что-то. Не обида. Не злость. Лёгкая, прохладная заминка — как у рыбака, у которого хорошая рыба вильнула у самой сети. Он привык, что на «чистый лист» идут с руками, с ногами, бегом. А тут — серый прилов отказался от рая. Странно. Чуточку странно. А странное, я уже знал, тут запоминают.

— Дело хозяйское, — сказал он наконец, легко, вставая, отряхивая чистые штаны. — Надумаешь — спроси Лосева, меня на Развале всякий укажет. Я тут часто. — Он улыбнулся на прощание — тепло, гладко, и уже отворачиваясь, уже уходя, обронил, вроде бы между делом,

вроде бы ни к чему: — А жила у тебя и впрямь неплохая, Подвес. Мне Сыч говорил. Чистенькая. Ты подумай, подумай. Таким рукам — грех на Развале пропадать.

И ушёл — чистый, лёгкий, пахнущий мылом, в сизое марево рынка.

Я сидел на чурбаке и смотрел ему вслед, и внутри у меня было холодно и пусто. Сыч говорил. Значит, тянется ниточка. Рыхлый перекупщик заметил каплю — и уже сказал вербовщику. Вербовщик заметил меня — и уже не забудет. А за вербовщиком стоят те, у помоста. А за теми — чистые повыше. А за теми — решето, стол и скальпель.

[Невод] Слышал, как он это сказал? «Чистенькая». Он пока не понял, что — пауза, — не понял, что чистая жила без рук значит. Но он запомнил. Они все теперь запоминают тебя по кусочку, Дэйв. Один — каплю. Другой — отказ. Третий — лицо. А потом кто-то в чистом сложит эти кусочки вместе. Это всегда так кончается. Всегда.

— Чего он хотел? — тихо спросила Блесна, подсаживаясь. Она держалась в стороне, пока сидел Лосев, — нарочно, чтоб не маячить лишней парой глаз, — но всё слышала, я знал.

— В рай звал, — сказал я. — С чистого листа.

Блесна усмехнулась — криво, невесело.

— И ты, конечно, отказался.

— Отказался.

— Правильно. — Она помолчала, глядя в огонь Скобиного горна. — Только знаешь, подвес… ты вот что заметь. Тут от рая не отказываются. Тут за место в чистом секторе глотки рвут, детей продают, по головам лезут. А ты — серый прилов, нищий, при чужом горне — взял и отказался. Легко. Не раздумывая. — Она повернулась ко мне, и в холодных умных глазах её была не насмешка — тревога. — Это, подвес, и есть твоя трещина. Не жила. Жилу спрятать можно. А вот что ты рая не хочешь — этого не спрячешь. Нормальные люди рая хотят. А кто не хочет — у того причина. И эту причину они рано или поздно спросят.

Я молчал. Потому что она была права — так же безнадёжно права, как Невод. Я прятал жилу, прятал замер, прятал руки. А надо было прятать ещё и то, что я не такой, как все. Что я не хочу их рая, потому что знаю, что их рай — это стол и скальпель.

И вот это спрятать было труднее всего. Потому что это был уже не кисет, который можно проверить трижды. Это был я сам.

Глава 5. Чужой среди серых

Тихоню я приметил на пятый день. И лучше бы не примечал.

Он таскал воду. На Развале была своя водоноша-работа — воду брали из глубоких, обложенных камнем колодцев на краю посада, носили по рядам в бадьях на коромысле, продавали кружкой. Чёрная, тяжёлая, невидная работа для тех, кто ни на что другое не сгодился: ни рукаст, ни боек, ни при дворе. Таких на Развале было много, целая порода, самая серая из серых, — и Тихоня был одним из них. Худой, сутулый, немолодой, с лицом, которое не запоминаешь, — я, кажется, раза три посмотрел на него в упор, прежде чем вообще понял, что это один и тот же человек.

А потом я понял про него другое. И это было плохо.

Он носил воду мимо Скобиного навеса, и однажды, когда он проходил, в соседнем ряду что-то с грохотом обвалилось — рухнула плохо сложенная поленница, пустяк, шум. Все обернулись на грохот — как оборачиваются люди, лениво, с досадой. А Тихоня не обернулся. Тихоня присел. На один короткий, вороватый миг — опустил голову в плечи, крутнулся боком, прикрылся бадьёй и повёл глазами по сторонам: откуда, где, опасно ли, куда бежать. Движение было быстрое, точное, звериное — и тут же спрятанное, смазанное, сделанное будто бы между делом, будто он просто поправил коромысло.

Я это движение знал. Я сам так делал. Так приседает и водит глазами не тот, кто испугался шума, — а тот, кто одиннадцать дней в лесу учился, что любой нежданный звук может быть последним. Так приседает битый. Пуганый. Лесом порченный. Или — у меня внутри похолодело — меченый.

Я отвернулся прежде, чем он поймал мой взгляд. Но весь остаток дня у меня в голове ворочалась одна тяжёлая, нехорошая мысль.

Если я его разглядел — значит, и меня можно разглядеть.

Вот что меня напугало по-настоящему. Не сам Тихоня — Тихоня был безобиден, тих, незаметен. Напугало то, как легко, с одного движения, я его вычислил. Я-то думал, что серость — это надёжная броня, что в толпе одинаковых прилов неотличим от прилова. А оказалось — нет. Оказалось, битый битого видит издалека. По тому, как тот приседает на шум. Как держит спину. Как слушает. И если это вижу я, нищий мастеровой, — то те, в чистом, кого на это натаскивали, кто этим живёт, видят в сто раз лучше. Они ходят по Развалу, среди сотен серых, и выщёлкивают нас, особых, пуганых, порченых, как выщёлкивают гнилые зёрна из горсти.

Я спросил про Тихоню у Скобы — осторожно, вскользь, за похлёбкой.

— А, этот. — Скоба махнула ложкой. — Водонос. Безвредный. Тихий, оттого и Тихоня. Пришёл с год назад, прибился, воду носит. Ни с кем, сам по себе. А чего тебе он?

— Да так. — Я пожал плечами. — Жила у него, слыхал, чистоватая будто. На рынке болтали.

Я соврал про «болтали» — никто не болтал, я выдумал повод. Но Скоба вдруг понизила голос, оглянулась, подвинулась ближе к горну.

— Болтали, говоришь. — Она пожевала губами. — Ну… есть такое. Шепчут. Что у Тихони, у водоноса, жила с туш выходит будто почище, чем должна. Он и не торгует ею почти, прячет, сдаёт по мелочи, в разные руки, чтоб не в кучу, — а всё одно шепчут. — Она глянула на меня тяжело. — Ты вот что, мастеровой. Ты эту болтовню не разноси. И сам к Тихоне не лезь. Чистоватая жила — это на Развале не удача. Это беда. За таким приглядывают. А кто рядом с таким трётся — за тем тоже начинают приглядывать. Понял? Держись от водоноса подальше. Своя шкура дороже чужой жилы.

Я понял. Я понял даже больше, чем сказала Скоба. Я понял, что Тихоня — это я. Та же чистоватая жила, которую он прячет, сдаёт по мелочи, в разные руки, грязнит, как может. Та же

привычка приседать на шум. Та же серость, в которой он живёт год — и доживёт ли до второго, большой вопрос. Тихоня был мне зеркалом. И зеркало это показывало мне моё собственное будущее на Развале: год, может, два тихой, пуганой жизни на цыпочках — а потом однажды утром тебя просто не станет, и никто не хватится, потому что ты был тих, сер и сам по себе.

И я не мог решить, кто он мне — товарищ по несчастью или наживка.

Потому что была и другая мысль, холодная, подлая, но её нельзя было не додумать. А что, если Тихоня — не настоящий? Что, если его чистоватая жила, его приседания на шум, его тихая мышиная жизнь — это не беда, а приманка? Что, если его нарочно пустили на Развал — тихого, безвредного, с чистоватой жилой, — чтоб он собирал вокруг себя таких же особых, таких же пуганых, тянул их к себе, как свет тянет мошку, а потом тихо сдавал тем, в чистом? Идеальная наживка. Своя кровь, порченый, пуганый — к такому и тянет, такому и доверишься скорее, чем сытому. Я ведь сам, увидев его, первым делом почувствовал не опаску даже, а что-то вроде узнавания. Родственное. Свой. А «свой» на Развале, я уже знал, — это ровно то, на чём тут и ловят.

Я не стал к нему лезть. Скоба была права, и чутьё говорило то же. Но и забыть про него не мог. Я теперь ловил его взглядом — украдкой, издали, как он сам ловил взглядом толпу. Смотрел, с кем он говорит (почти ни с кем). Куда носит воду (везде, он же водонос). Не крутится ли возле помоста, возле чистых (нет, он чистых обходил широко, как обхожу их я, — и это говорило за то, что он настоящий, а не наживка; но ведь и умная наживка обходила бы). Голова у меня от этих кругов шла кругом. Я пришёл на Развал искать ответы про себя — а вместо этого целыми днями следил за тихим водоносом и не мог понять, боюсь я его или жалею.

А ещё я начал видеть наблюдателей.

Раньше, до Тихони, до того, как битый научился различать битых, я их не замечал — они на то и были незаметны, серые среди серых, с досками, которые носили за пазухой, не на виду. А теперь, наученный, я стал их ловить взглядом по всему Развалу. Их было несколько. Они ходили по рядам, медленно, скучно, как ходят зеваки, — но глаза у них работали не как у зевак. Они смотрели на людей. Выщёлкивали. Останавливались чуть дольше нужного то на одном, то на другом — и роняли руку за пазуху, к доске, и что-то там отмечали, не вынимая.

И, приглядевшись, я понял страшное: смотрели они не только на Тихоню. И не только на меня, грешным делом. Они смотрели на многих. Дольше задержались на девке, что слишком ловко увернулась от окрика стражи. На мужике, что в драке у кабака двигался не как пьяный, а как боец. На мальчишке — том самом, может, что лазил по карманам, — слишком быстром, слишком глазастом. На старухе-знахарке, чьи снадобья слишком хорошо поднимали на ноги. Весь Развал, оказывается, был под негласным, ровным, вечным надзором. Весь садок просеивали глазами — каждый день, по капле, впрок, задолго до всякой переписи. И у каждого, кто хоть чем-то выбивался — ловкостью, силой, умом, чистой жилой, — у каждого копилась где-то своя строчка, свой счёт, своя доля в чьей-то доске.

Решето, понял я тогда, — это не перепись. Перепись — это только день, когда решето встряхивают. А само решето — вот оно, всегда, каждый день, в этих скучных глазах, в этих досках за пазухой, в этом ровном, терпеливом высматривании всех, кто хоть на волос не сер. Садок жил под сетью, не видя её. А я теперь видел — и от этого жить стало ещё холоднее.

Блесна, когда я ей рассказал, выслушала молча. Потом сказала коротко:

— Не ходи к нему. И не следи. Следишь — значит, выделяешь его из толпы глазами. А глаза, подвес, со стороны видно, за кем ходят. Ты думаешь, ты один такой глазастый на Развале? За тобой, может, тоже кто сейчас так же ходит взглядом — а ты водоноса пасёшь и не видишь. — Она помолчала. — Хочешь совет? Забудь про него. Он не твоя забота. Твоя забота — дожить самому и меня не угробить. А водонос пусть сам выживает, как год выживал. — Она криво усмехнулась, и в усмешке этой была та развальская чёрная соль, без которой

тут, похоже, было не выжить. — Знаешь, чем хорош этот садок, подвес? Тем, что тут не надо гадать, кто умрёт первым. Тут помирают по очереди, и очередь вывешена. Сперва должники, потом смутьяны, потом особые. Мы с тобой — особые. Значит, у нас с тобой места в хвосте очереди похуже, чем у Сыча, зато получше, чем у водоноса: он и чистоватый, и одинокий, за него и заступиться некому. — Она пожала плечом. — Так что не завидуй водоносу, подвес, и не спасай его. Он впереди нас в очереди. А на том свете, говорят, кто первый пришёл — тому лучшее место у котла. Вот и пусть займёт. Нам придержит.

Я невольно хмыкнул — страшно это было и смешно разом, вот этот её висельный разговор про очередь на тот свет, как про очередь за похлёбкой. Но в том-то и дело: на Развале без такого разговора было не прожить. Шутить про смерть — значило держать её на расстоянии вытянутой руки, не пускать в нутро. Блесна это умела. Я учился.

Совет был трезвый, верный, Блеснин. И я бы, наверное, ему и последовал — если б не одно.

На седьмой день Тихоня со мной заговорил.

Сам. Подошёл под вечер к колодцу, где я набирал воду для Скобиного горна, — подошёл со своей бадьёй, стал рядом, молча, будто просто за водой. Мы черпали молча, бок о бок, двое серых, и я уже думал, что показалось, что он правда просто за водой, — когда он, не глядя на меня, глядя в чёрную воду колодца, тихо, одними губами, сказал:

— Ты новый. Мастеровой. Горн сложил.

— Сложил, — так же тихо ответил я, не глядя на него, глядя в воду.

— К тебе Лосев приходил. В чистом. — Это был не вопрос. Он знал. — Звал в сектор. А ты отказался.

У меня по спине прошёл холод. Откуда он знал про отказ? Видел? Слышал? Или ему сказали? А если сказали — то кто и зачем?

— Отказался, — сказал я ровно. — Мне и тут неплохо.

Тихоня зачерпнул воды. Помолчал. А потом сказал — так же тихо, в воду, но от этих его слов у меня внутри всё остановилось:

— Правильно, что отказался. — Пауза. — Те, кто с ним уходит, мастеровой… они уходят. А обратно не приходят. Я тут год. Я считал. Много ушло. Ни один не вернулся. — Он вскинул на коромысло полные бадьи, выпрямился и на один короткий миг посмотрел мне прямо в глаза — и в его невидном, незапоминающемся лице я увидел не мышь, не наживку, а человека. Усталого, пуганого, всё понявшего человека, который год носит воду и считает ушедших. — Держись серым, мастеровой. Серее, чем держишься. У тебя плохо выходит. Видно тебя. Я сразу разглядел. А раз я разглядел — значит, и другие разглядят. Те, кому за это платят.

И ушёл — сутулый, тихий, с полными бадьями, покачиваясь под коромыслом, растворился в сизом мареве рядов.

Я стоял у чёрного колодца с полным ведром и не мог двинуться.

Он разглядел меня. Сразу. Так же, как я — его. Битый битого. И он не сдал меня, не донёс, не поймал на крючок — он предупредил. По-своему, скупо, из тихой своей солидарности пуганых. А может — шепнул подлый голосок, тот самый, холодный, — а может, именно так наживка и втирается: сперва предупреди, спаси, вызови доверие, стань своим. Я не знал. Я так и не знал, кто он мне.

А теперь уже было поздно решать. Теперь мы были связаны — одним взглядом у колодца, одной чистоватой жилой, одной общей бедой, которую оба прятали. И если за одним из нас однажды придут — я чувствовал это нутром, тем самым звериным нутром, что спасало меня в лесу, — то потянут и второго.

[Невод] Он прав, Дэйв. Тебя видно. И он тебя видит, и ты его. Двое меченых… нет. Не знаю, меченый ли он. Может, просто чистая кровь, таких тоже ищут. Но вот что я тебе скажу про таких, как вы. Вы тянетесь друг к другу. Всегда. Это сильнее страха, сильнее ума.

Своя кровь зовёт. А на Развале, Дэйв, своя кровь — это общая петля на две шеи. Чем крепче держитесь друг за друга — тем удобнее вас взять разом.

Я вылил воду в Скобин чан, молча, и до самой ночи не сказал Блесне ни слова про колодец.

Не потому что скрыл. А потому что боялся: скажу — и она велит держаться от Тихони подальше. А я уже знал, что не смогу. Потому что Тихоня был прав, Невод был прав, они все были правы: своя кровь зовёт. И впервые за всё время на Развале, среди тысяч чужих, я встретил человека, который без слов, с одного взгляда у колодца, знал про меня главное — и не продал.

На Развале это дорогого стоило. Может быть, дороже всего.

Глава 6. Трещина

Прокололся я на чужом страхе. На том, что в лесу спасало, а у людей — выдало.

Был торговый день — большой, шумный, когда на Развал стекались старатели со всех ближних угодий и рынок кипел, как котёл. В жильном ряду, у Сыча и других перекупщиков, шла бойкая торговля, а чуть в стороне, у самого края, держали живой товар. Я и не знал про это место, пока Скоба не послала меня туда за свежими пластинами — там, в тесных клетях из брёвен и жердей, держали пойманных тварей. Живьём. Чтоб жила в них была свежая, непротухшая: тварь колют у покупателя на глазах, цедят из неё жилу прямо в кисет, тёплую, самую дорогую. Жестокое, вонючее, выгодное место. Твари в клетях бились, выли, смердели, обезумевшие от тесноты и от близости себе подобных.

А со мной увязался Клёст. Лейкин Клёст — ему только дай повод потаскаться за мной по рынку: увидел, что я собрался к живому ряду, запрыгал, выпросился — покажи, покажи, я тихонько, я мешать не буду. И я взял, дурак. Думал — пусть поглядит, как цедят жилу, мальчишке в радость. Привёл его сам, своей рукой, в это вонючее, жестокое место. К клетям.

И одна клеть не выдержала.

Держали в ней Секача — здоровенного, не чета тому, от которого я когда-то удирал без оглядки; этот был старый, бурый, в броне, как в коросте, с клыками в ладонь. Его, видно, взяли недавно и ещё не укротили голодом, не обломали, — и он бил в жерди клети размеренно, тупо, всем своим весом, раз за разом, пока одна жердь не треснула, не лопнула, не вылетела. А за ней — вторая.

Дальше всё было быстро.

Секач вывалился из клети в узкий проход между рядов — ошалевший, яростный, в своей бурой броне, — и проход взорвался криком. Люди шарахнулись, давя друг друга, опрокидывая столы, бадьи, корзины. Баба заголосила. Кто-то упал под ноги толпе. Стража — те двое с рогатинами, что сторожили живой ряд, — замешкались, как всегда мешкаются люди, застигнутые тем, чего не ждали: один выставил рогатину не с того конца, другой просто попятился. А Секач, поведя бронированной башкой, выбрал жертву — и у меня остановилось сердце. Клёста. Моего Клёста, лопоухого, вертлявого, которого я сам, своей рукой, привёл сюда полюбоваться, — отброшенного толпой, застрявшего в давке, прижатого к перевёрнутому столу, в двух шагах от клыков. Он не кричал даже. Он смотрел на Секача круглыми, застывшими глазами, как смотрит зайчонок на змею, — и не мог двинуться. И Секач присел на задние лапы для броска.

А я уже двигался.

[Невод] Секач. Уровень 11.

Строчка вспыхнула и пропала — по уставу, как выдал бы её любому. Одиннадцатый. Выше меня на два. Ровно на столько же, на сколько тот, первый Секач в ложбине был выше меня тогдашнего: четыре против шести — «корм», сказал мне тогда Невод, и я удирал по ручью, бросив копьё. Я отметил это мимоходом, краем глаза, как отмечают разметку на дороге. И не сбавил шага.

Я не думал. В том-то и беда, что я не думал — тело думало за меня, то лесное, отлаженное одиннадцатью днями и декадами тело, которое давно перестало бояться тварей и научилось их просто убивать. Пока толпа шарахалась, пока стража мешкала, пока Клёст застывал зайчонком у перевёрнутого стола, — я уже сделал три шага вбок, уже поймал Секача в единственно верную точку, уже знал, куда и как. Плевок был при мне, на плече, по привычке — на Развале я его не снимал. Я вскинул его одним движением, на выдохе, мягко, как учил Кряж, — и плюнул Секачу в глаз. В единственное уязвимое место на всей этой бурой бронированной туше, в мутное бельмо под надбровной пластиной, которое нормальный человек, не знающий тварей, и не разглядел бы в суматохе.

Болт вошёл чисто. Секач взвизгнул, мотнул башкой, сбился с броска — но не сдох, такого одним болтом не свалишь. И я, не останавливаясь, в том же движении, уже выхватил нож Первого и шагнул ему навстречу — навстречу, не прочь, как шагнул когда-то рукой в пасть Пластуна в свою первую ночь, — поднырнул под клыки, под мотающуюся башку, и всадил нож туда, где у Секача под передней лапой, между броневых пластин, бьётся что-то живое и важное. Снизу вверх. По рукоять. Провернул.

Секач осел. Грузно, тяжело, завалился набок, суча лапами, — и затих, роняя из пасти бурую пену, в двух шагах от Клёста, которого так и не достал.

Всё заняло, может, три удара сердца.

А на четвёртый — пришло.

[Невод] Тварь повержена. Опыт: много.

[Невод] Уровень 10. Нераспределённого: 7.

Жила Секача — густая, зрелая, из того самого гребня, ради которого его и везли в клети, — толкнулась в меня через нож, через ладонь, сжимавшую рукоять, тем знакомым тёплым толчком, что всегда приходит с новым уровнем. Только теперь — сильнее, гуще, будто в жилы плеснули кипятку пополам с мёдом. Мышцы налились. Сердце, только что колотившееся у самого горла, ударило ровнее и тяжелее. Мир на миг стал резче, медленнее, понятнее — я видел каждую пылинку в луче, каждое лицо в толпе. Хотелось распрямиться, вдохнуть во всю грудь, засмеяться от этой полноты. Хотелось — и было нельзя. Я сжал зубы и задавил эту волну в себе, вдавил поглубже, как давят кашель на похоронах.

И вот тут, стоя над остывающей тушей, с ножом в руке, тяжело дыша, я вдруг почувствовал тишину. Не настоящую — рынок вокруг гомонил, выл, приходил в себя. Тишину вокруг меня. Пятачок тишины. Люди, которые только что шарахались в панике, теперь смотрели. На меня. Молча. С тем особым, нехорошим вниманием, с каким смотрят не на спасителя — на диковину. На того, кто сделал то, чего не делают. Кто не побежал, как все. Кто не замер, как все. Кто один, пока два стражника мешкали со своими рогатинами, вышел на взбесившегося Секача — спокойно, деловито, без крика, без страха, — и положил его в три движения, точно и чисто, будто всю жизнь только тем и занимался, что колол Секачей посреди рынка.

Клёст с рёвом кинулся ко мне, вцепился в ногу, и я на миг прижал его, трясущегося, к себе. А откуда-то из толпы, расталкивая всех, уже летела Лейка — она разносила воду тут же, на рынке, услышала крик, поняла материнским чутьём, — подхватила сына, прижала, заголосила уже от облегчения, ощупывая его, целого, живого. Кто-то выдохнул. Кто-то выругался. А я стоял и понимал, холодея, поверх всего облегчения и шума, одну-единственную, очень простую, очень страшную вещь.

Я прокололся.

Не жилой. Не замером. Не ответом пустому воздуху. Хуже. Я показал всему рынку, при сотне глаз, что я — не серый мастеровой. Что я тварей не боюсь. Что я их читаю, бью в единственную точку, иду на них, а не от них. А так, спокойно и без страха, на тварь смотрят — я помнил это намертво, Невод вбил мне это в голову ещё над первой лужей жилы, — единицы на тысячи. Особые. Меченые. Те, кого ищут.

Я убил Секача и спас Клёста — и этим же ударом ножа распорол собственную серость от горла до пупа, у всех на виду.

Я быстро — слишком быстро, опять слишком ловко — выдернул нож, вытер о бурьян, что валялся под ногами, отступил в толпу, ссутулился, сделал тупое лицо, забормотал что-то вроде «повезло, повезло, я ж со страху, не помню себя». Поздно. Я видел — поздно. Люди уже отворачивались, уже гомонили о своём, им-то что, для них диковина кончилась. Но не для всех.

У края живого ряда, в стороне, стоял человек. Не в чистом — в нашем, в сером, неприметном. Но стоял он не как торговец, не как старатель, не как зевака. Стоял спокойно, в сто-

роне от давки, которая его не задела, не напугала, — и смотрел. На меня. И в руках у него была плоская доска.

Он не кричал, не суетился, не хватался за жилу Секача, как уже кинулись хвататься перекупщики. Он просто смотрел на меня — ровно, цепко, оценивающе, — а потом вынул из-за пазухи доску и что-то на ней коротко пометил.

Записал.

И отошёл — спокойно, не спеша, растворился в толпе, серый среди серых. Но я его разглядел. Теперь я умел их разглядывать, спасибо Тихоне, спасибо колодцу. Это был не торговец и не зевака. Это был такой же, как я, глазастый — только с другой стороны. Тот, кто ходит по Развалу и смотрит. Выщёлкивает особых из толпы. И записывает.

Я его разглядел на мгновение позже, чем он — меня.

[Невод] Дэйв.

Голос ударил так резко, так не вовремя — при людях, в толпе, чего он не делал с самых ворот, — что я чуть не вздрогнул на виду. Удержался чудом.

[Невод] Я нарушаю уговор. Молчать сейчас — хуже. Слушай меня и не вздрагивай, держи лицо. Тот, с доской, — наблюдатель. Их тут несколько, серых, незаметных. Они ходят и ищут аномалии. Не меченых — они и слова такого не знают, оно не для них. Они ищут странное. Того, кто не так бежит, не так боится, не так бьёт. Ты только что дал им самое крупное странное за декаду. Он тебя записал. Это уйдёт наверх. Не сегодня, не завтра — но уйдёт, ляжет в чью-то сводку строчкой: аномальная реакция, боевая, объект — мастеровой по кличке Подвес. А наверху, Дэйв, такие строчки собирают. И когда их накапливается довольно — присылают тех, кто разбирается на месте.

Долгая пауза. Рынок гудел. Я стоял, держа лицо, тупое, серое, непонимающее лицо спасшего ребёнка мужика, которому и невдомёк, что он натворил.

[Невод] Я должен был промолчать. Мне нельзя с тобой говорить при них. Но, Дэйв… — и тут голос его сделал то, чего не делал прежде: запнулся, будто сам удивился тому, что говорит, — *…я не мог смотреть, как ты этого не понимаешь. Вот оно опять. То, чего во мне быть не должно. Я опять сорвался. Из-за тебя. Уходи отсюда. Медленно. Скучно. И больше, Дэйв, слышишь, — больше никогда никого не спасай так красиво. Лучше дай мальчишке умереть, чем так.*

Я ушёл. Медленно. Скучно. С тупым лицом. Внутри у меня всё было холодно и мёртво.

Потому что он был прав — опять, снова, кругом прав. Я знал, что должен был сделать. Должен был замешкаться, как стража. Шарахнуться, как все. Дать Клёсту… нет. Не дать Клёсту умереть — этого я не мог, не смог бы ни за какую серость, не тот я человек, не затем сорок лет на свете прожил. Тем более что это я его туда привёл, своей рукой. Но я мог убить Секача хотя бы некрасиво. Коряво. С перепугу, наугад, как убил когда-то свою первую тварь, — визжа, катаясь, тыкая ножом как попало. Сошло бы за дурное везение. За паническую дурь. Серому мастеровому простительно спастись по-дурацки.

А я убил красиво. Чисто. Умело. На загляденье.

И этим загляденьем подписал себе приговор. Где-то наверху, в чьей-то сводке, уже ложилась строчка. А под строчкой зрело решение. А решение однажды обернётся теми, кто приезжает разбираться на месте.

Трещина, которую я так боялся дать, — я дал её сам. Своими руками. Спасая Клёста, которого сам же и привёл под клыки.

И знаете, что самое страшное? Я и сейчас, задним числом, не знаю, как надо было иначе. Вот в чём их решето, их капкан, их главная подлость: они устроили мир так, что остаться человеком в нём — значит себя выдать. Серый не спасает детей. Серый мешкает. А я не умел мешкать. Меня в лесу отучили.

Остаток дня рынок смотрел на меня иначе. И это было хуже всего.

Лейка нашла меня под вечер у Скобиного навеса — хотя и искать не надо было, мы соседи. Привела Клёста — живого, целого, таращившего на меня круглые глаза, — и совала мне что-то в руки, лепёшки, вяленое мясо, последнее, видать, что было, и кланялась, и плакала, и называла спасителем, и звала всех богов, каких знала, на мою голову. Я отнекивался, краснел, не знал, куда девать руки и глаза. Потому что как ей объяснишь, что её благодарность — это ещё одна зарубка на мне, ещё один человек, который меня запомнил, выделил, назвал особым, при всём рынке? Что каждое её «спаситель», сказанное громко, при людях, — это гвоздь в мою серость? Я взял её лепёшки, чтоб не обидеть, погладил мальчонку по вихрам, буркнул что-то, выпроводил. А внутри было холодно.

И другие смотрели. По-разному. Кто с тем же простым, тёплым, человеческим — вон он, тот мужик, что Секача уложил, надо же. А кто иначе. Сыч, рыхлый перекупщик, при встрече поглядел на меня с новым, жадным, оценивающим интересом — он уже складывал: чистая жила без рук да ещё и Секача в три движения, ай да находка. А ещё кто-то — я не углядел кто, затылком почуял — смотрел из толпы тем самым скучным, цепким, невидным взглядом, от которого хотелось стать плоским. Наблюдатель. Или не один.

Я спасал ребёнка — три удара сердца. А расплачиваться за эти три удара предстояло, я уже понимал, долго. Может, всю оставшуюся жизнь. Потому что на Развале за тобой следят не один день — тут копят. По крупице. И три красивых удара ножом по Секачу теперь легли в чью-то доску жирной, несмываемой строкой: этот — не как все.

Вечером Блесна, выслушав всё, долго молчала. А потом сказала — тихо, без упрёка, что было хуже упрёка:

— Ну вот и началось, подвес. — Она смотрела в огонь. — Я ж тебе говорила. Не жила тебя выдаст. Ты сам себя выдашь. Тем, что ты — это ты. — Она подняла на меня глаза, и в них была не злость, а что-то похожее на нежность, на горькую, усталую нежность. — И знаешь, что самое поганое? Я б за это тебя и полюбила. Ровно за это. Что ты на Секача пошёл, а не в толпу. Что Клёста не бросил. — Она отвернулась. — За это и полюбила. И за это же, похоже, и схороню.

Глава 7. Слух о сите

Слух пополз по Развалу за три дня до того, как пришла беда. Так всегда: сначала слух, потом беда. Слух — это тень, которую беда отбрасывает впереди себя.

Началось с мелочей. С того, что перекупщики вдруг стали придерживать товар — не выкладывать всё, прятать лучшее по схронам. С того, что цена на жилу качнулась, поползла вкривь, как ползёт стрелка перед грозой. С того, что у ворот, у Мятого с его книгой, стало тише — народ попридержал ход, кто мог, пережидал в угодьях, не совался на Развал без крайней нужды. Люди на рынке стали говорить тише, оглядываться чаще, сбиваться в кучки и расходиться при чужом. Над Развалом, под его сизым маревом, повисло что-то ещё — невидимое, липкое, холодное. Ожидание.

— Перепись, — сказала Скоба наконец, вечером, когда я напрямую спросил, что творится. Сказала нехотя, через силу, будто само слово было дурной приметой. — Будет перепись, мастеровой. Говорят, скоро. Может, в эту декаду. Может, в следующую.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.